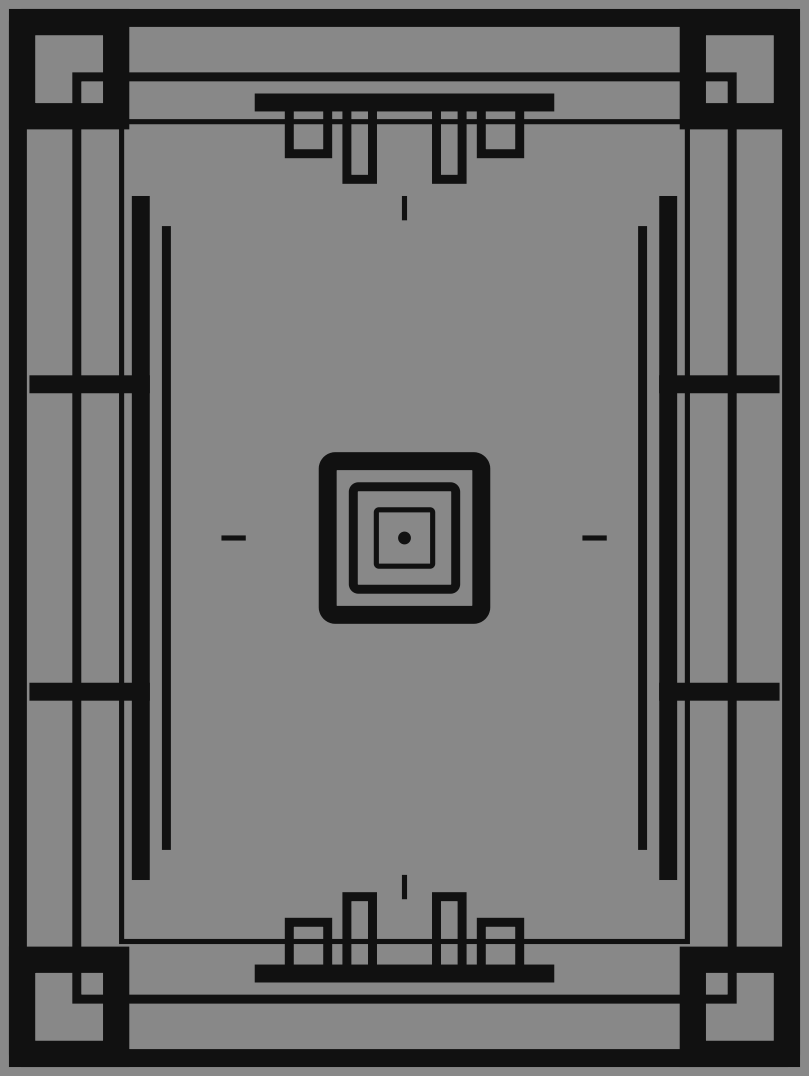


Василий Розанов глазами эксцентрика

Венедикт Васильевич Ерофеев

Венедикт Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика

Венедикт Ерофеев
Василий Розанов глазами эксцентрика

Я вышел из дома, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул за пазуху, второй — тоже за пазуху, третий — не помню куда.

И, выходя в переулок, сказал: "Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство". Божья заповедь "не убий", надо думать, распространяется и на себя самого ("Не убий себя, как бы ни было скверно"), но сегодняшняя скверна и сегодняшний день вне заповедей. "Ибо лучше умереть мне, нежели жить", — сказал пророк Иона. По-моему, тоже так.

Дождь моросил отовсюду, а может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто, и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, что меня чуть-чуть подогревали, тоже исчезли и растворились в пустотах. И в довершение от меня сбежало последнее существо, которое попридержало бы меня на этой Земле. Она уходила — я нагнал ее на

лестнице. Я сказал ей: "Не покидай меня, белопупенькая!" — потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: "Благословеннолонная, останься!" Она повернулась, плюнула мне в ботинок и ушла навеки.

Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось. Я истреблял себя полгода, я бросался под все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. И у себя дома. Над головой, я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флер-д-оранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта, и все снаряды пролетали мимо. Кто бы ты ни был, ты, доставший мне эти три пистолета, — будь ты четырежды благословен.

Еще не доходя площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа все распухала, слезы текли у меня спереди и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

"Вначале осуши пот с лица". Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен,

но вспомни что-нибудь освежающее, что-нибудь такое освежающее… например, такое:

Ренан сказал: "Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности". Изящно сказано. Но это не освежает, где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет.

И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: "У каждого в глазах своя звезда". А вот у меня ни одной звезды, ни в одном глазу.

А Алексей Маресьев сказал: "У каждого в душе должен быть свой комиссар". А у меня в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом.

Не подымаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий — не помню откуда, и из всех трех разом выстрелил во все свои виски и опрокинулся на клумбу, с душой, пронзенной навылет.

"Разве это жизнь? — сказал я, подымаясь с земли. — Это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот — вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промах-

нулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них больше нет ни одного заряда".

Пена пошла у меня изо рта, а может, не только пена. "Спокойно! У тебя остается еще одно средство, кардинальное средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии". Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: "Umnia animalia post coitum opressus est", то есть: "Каждая тварь после соития бывает печальной", — а вот я постоянно печален, и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский, сказал: "Одним глазом я уже ничего не вижу, а другим — лишь очертания любимой женщины". А я не вижу ни одним глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: "В этом мире явлений..." (Тьфу, я не могу больше говорить, у меня спазмы.) Я дернулся два раза и зашагал дальше, в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает что еще.

"Павлик непременно дома, он смешивает яды

и химикалии, он готовит средство от бленнореи", — так я подумал и постучал: — Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять, — он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят, — сказал он, — я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленнореи.

— О, я ненадолго! Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике! — Я взгромоздился к нему на пуфик, я умолял: Цианистый калий есть у тебя? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волоки все! Он ответил: — Не дам.

— Ну прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия! Что они мне, вкусившему яда Венеры! Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты покуда лечи бленнорею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал:

"Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленнорею". А у меня, у придурка, — ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: "Не сделай я чего-нибудь до 30 лет, я ничего не сделал бы и после 30". А я? Что я сделал до 30, чтобы иметь надежды что-нибудь сделать после?

А Шопенгауэр сказал: "В этом мире явлений..." (О нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы.)

Павлик-фармацевт поднял все свои брови на меня и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: "У каждого в жизни есть своя Страстная Неделя". Вот у тебя.

— Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц! Как славно! Кто такой, этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем заветном ты думаешь? — спросил я его; он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и вскочил с пуфика.

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал под мышкой три тома Василия

Розанова и вбивал бумажную пробку в бутыль с цикутой. — Реакционер он, конечно, закоренелый? — Еше бы!

— И ничего более оголтелого нет? — Нет ничего более оголтелого. — Более махрового, более одиозного — тоже нет? — Махровее и одиознее некуда. Прелесть какая. Мракобес? — "От мозга до костей", — как говорят девочки. — И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил. Царствие ему небесное. — Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое?.. — В какой-то степени — да. — Волшебный человек! Как только у него хватило желчи, и нервов, и досуга? И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь, и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна небезызвестность. — Да, да, я слышал ("Погоди, Павлик, я сейчас иду"), я слышал еше в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо: об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном комплоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев, "простер

совиные крыла", Дев Шестов, Дмитрий Мережковский, Фаддей Булгарин, "не та беда, что ты поляк", Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин, "по Невскому бежит собака", Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо. Я имею понятие об этой банде.

— Славная женщина, София Соломоновна Гордо, относительно "банды" я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не уроки, не бутыль с цикутой, а вот "созвездие" оскорбляет слух, и никудышно, и неточно, и Иоганн Кеплер сказал: "Всякое созвездие ни больше ни меньше как случайная компания звезд, ничего общего не имеюших ни по строению, ни по значению, ни по размерам, ни по досягаемости".

— Ну, это я, допустим, тоже знаю, я слышал об этом от нашей классной наставницы

Белы Борисовны Савнер, женщины с дивным... ("Погоди, Павлик, я сейчас иду"). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс? — Решительно всех. — И переплюнул? И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах, и я

ухожу.

— Умер, как следует. Обратился в истинную веру часа за полтора до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи. — Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

Сначала отхлебнуть цикуты и потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина:

"Книга должна быть дорогой, и первое свидетельство любви к ней готовность ее купить. Книгу не надо "давать читать". Книга, которую "давали читать", — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и публичные библиотеки — суть публичные места, развращающие народ, как и дома терпимости".

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь шла не о раз-

вратницах книгах, а просто о развратницах:

"Можно дозволить очищенный вид проституции для "вдовствующих замужних", то есть для разряда женщин, которые не способны к единобрачию, не способны к правде, высоте и крепости единобрачия".

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с "развратными ложеснами" и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я встал и просверлил по дыре в каждой из четырех стен, для сквозняков. И потом повалился на канапе и продолжал: "Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?" "Томится моя душа. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна". У обскуранта — и вдруг томится душа? "Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?" "Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд". "Грубы люди, ужасающе грубы — и даже поэтому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли". "О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!"

(Нет, с этим "душегубом" очень даже есть о чем говорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы "о чем говорить".)

"Только горе открывает нам великое и святое". "Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние иногда до того тяжело, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, "состав не выдержит". "Я не хочу истины, я хочу покоя". "О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?"

"Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда".

"Грусть — моя вечная гостья". "Смех не может никого убить, смех придавить только может". "Терпение одолевает всякий смех". "Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех от Калибека, а не от Ариэля".

"Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет, никогда не увидит Христа". "Христос — это слезы человечества". "Боже вечный, стой около меня, никогда от меня не отходи".

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот говорит то

самое. Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения, Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью.)

"Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция". "Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего глубины". "Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом". "Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция".

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:

"И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с "Русскими женщинами".

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, "царям напомнить о Христе"):

"Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не ваш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем давно надо дать под зад?" "Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо

было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые, вместо того чтобы кушать, начинают вонять". (Как это может страдалец — вонять?) И о графе Толстом:

"В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их "философия и публицистика". "Эта "раздавленная собака", пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой "раздавленности", напротив, сами они весьма и весьма давили".

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

"Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице, какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но не унывает. И опять закидывает".

И об "основателе политического пустозвонства в России" Александре Герцене.

"За всю его жизнь — ни одного натурального и высокого помысла — только бы накопить денеж-

ку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет".

Вот на этом ползучем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и бренная тоже уснула.

И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел "Боже, царя храни", пропел нечисто и неумело, но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на "демона, боязливо хватающегося за крест", то на Абадонну, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абадонне. (А я все лежал на канапе и наблю-

дал.) Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицы "кавалерственную даму" Веру Фигнер (она глазом не повела), а всем остальным вдумчиво роздал по подзатыльнику. ("О шельма!" — сказал я, путаясь в восторгах.)

А он между тем, влепив последний подзатыльник, нахмурился и пошел ко мне в избу с кучей старинных монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся с канапе и шепотом спросил:

— Неужели это интересно — дуть на каждую монетку? А он сказал мне: Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь до сих пор? Тебе скверно — или ты всю ночь путался с блядьми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне вчера было скверно. "Книга, которую дали читать..." — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера мне

было плохо до того, что депутаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали головы пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретишем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать…

Меня прорвало, я на память пересказал весь свой вчерашний день, от пистолетов до ползучего гада. И тут он пришелся мне уж совсем по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, "сплетенных из грязи, нежности и грусти", и о "стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады", о Шернвале в Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея, о половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумились, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системы в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоянной на черной желчи, и с "метафизическим цинизмом".

Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: "О шельма!"), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствуюших иобновленцах (туг он попросил подробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога в Церкви, о гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к измаильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к измаильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог что найти взамен этому всему? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот

даже старец Даван, во всем изверившийся, клялся дочерьми, не зная, что еше можно избрать предметом? А есть ли у когонибудь из нас во всей России хоть одна дочь? А если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: "Изрядно".

И тут меня вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменилось у нас, ото "всего" не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбрелись по заграницам, еше до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу. Остались умные, простые, честные и работящие. Говна нет и не пахнет им, остались бриллианты и изумруды. Я один только — пахну. Ну и еше несколько отшепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен.

Кощей почему-то бессмертен. Всякая их идея непреходяща, им должно расти, а нам умаляться.

Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, для мерзавцев…

— О, не продолжай, — сказал мне на это Розанов, — и перестань нести околесицу…

— Если я замолчу и перестану нести околесицу, — отвечал я, — тогда заговорят камни. И начнут нести околесицу. Да. Я высморкался и продолжал: Они в полном неведении. "Чудовищное неведение Эдипа", только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это по меньшей мере некрасиво.

И знал бы ты, какие они все крепыши, все теперешние русские. Никто в России не боится щекотки,я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десяток мужиков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лупил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения

одного только меня не взяли в Красную Армию, и то только потому, что у меня была изжога и на спине два пупырышка…

("Хохо! — сказал собеседник. — Отменно".) — И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. "Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез". Значит, они кретины, а я прирожденный идиот.

Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота и улыбка кретина, как понос и запор, как моя легкая придурь и их глубокая припизднутость (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мне душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот.

И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумья уйду, у меня есть опыт в этом, у меня под рукою яд, благодарение Богу. Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих…

Все это проговорил я, давясь от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов, штук сто тридцать невольных, позаботься вначале о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и тягчить себя ими? Прежде займись своими собственными. Во всеобщем "безумии сынов человеческих" есть место и для твоей (как ты сладостно выразился?) "припизднутости". "Мир вечно тревожен и тем живет". И даже напротив того: "Мы часто бываем неправдивы: чтобы не "причинять друг другу излишней боли". Он же постоянно правдив. Благо тебе, если ты увидишь Его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? А — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего

шестьдесят таких промежуточков. Все было недавно. "И оставь свои выспренности", все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь заново домом молитвы. "Но нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощит-

ся". "Следует бросить железо — оно паутина — и поверить в нужную идею". "Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благородное".

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канапе и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: "Все только начинается!" Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только распалил во мне надежду. У меня началось еще лет десять до того — все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон — оставалось прибечь к самому проверенному из средств: изблевать это все посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишущей "Беда" с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после того я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден

один только кусочек мозгов — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца Фердинанда. До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, ничего бы и не началось.

Если б он теперь спросил меня: — Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу тентезируется? Я ответил бы:

— Чувствую. Тентезируется. И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и блеянье, блеянье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемешку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерстве новых образцов и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. "Неумело" благотворить и "по пустякам" анафемствовать.

Прекрасно сказано: "Люди, почему вы не сле-

дуете нежным идеям?" Это напоминает вопрос какогото британца к вождю калимантанских каннибалов: "Сэр, почему вы кушаете своих жен?" Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канапе Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя? О вздохе, о свиньях? "Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь". Мы святые, а они — корректные. К вздоху Бог придет. К нам — придет. Но скажите, пожалуйста, неужели же Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох. У них — нет вздоха.

И тогда я понял, где корыто и свиньи.

А где терновый венец, и гвозди, и мука. И если придется, я защищу это все как сумею. А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сфере повседневности, я, вопервых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это и в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу — негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес тот, кто будет

утверждать обратное.

Если мне скажут: случалось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся незыблемости принципов он, по собственному признанию, "менял убеждения, как перчатки", уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение, — если мне это скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларации человека, что жаловался и на собственный "фетишизм мелочей" и кому (может быть, даже единственному в России) ни одна мелочь ни разу не застила глаз.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуристов, надо, чтобы сам порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто успеть доносить свои башмаки. Искупитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же не можем быть искушены во всех грехах — чтобы знать им цену и суметь отвратиться от них от всех.

Можно быть причастным мелкой лжи, можно

быть поднаторевшим в пустяшной неправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от той, гигантской лжи (все дурни знаю, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, за...кам, отвечу так: "Ну так что же, что постоянно блуждали? Честного человека только по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановое хамство. У масштабных преступников глаза не шевелятся, у лучшей части моих знакомых бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если б встретил его где-нибудь. Ну как может пахнуть изо рта человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех), — эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая!), а если заговорят о пре-

словутых "эротических нездоровьях" Розанова, — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе, от юности до смерти, прочно стоял монастырь — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунсштюками, если б это, допустим, и в самом деле были только кунсштюки и забавы?

И почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: "Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака", — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на чтонибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим или не зависящим от нас причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы — каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы пом-

нила каждая собака.

Короче, так. Этот гнусный, ядовитый старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше ни меньше — честь и дыхание).

Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопа, с книгами под мышкой. В такой вот поздний час никто не набрасывает на себя салопов и не идет из дома к друзьям — фармацевтам с шовинистами под мышкой. А я вот вышел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

"Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати лет — какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще

не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди!

Хохо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще навытворяют дел, более паскуднейших, чем натворили, — и это тоже знаю! Опали им гортань и душу. Творец, они не заметят даже, что ты опалил им гортань и душу, все равно опали!"

Вот-вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. "Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше от темени до подошвы ног!" ("Прелестная формула!")

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дома, в лесах и на горах, со щитом и на шите, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно! Если вам, что ни день, хорошо — горе вам!

(Если хорошо — четырежды горе!) В вашей грамоте и в вашей безграмотности, во всех на-

уках ваших и во всех словесностях, — будьте прокляты!. На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пюпитрами, после смерти и до зачатия будьте прокляты. Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы готовы растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проблядь Снегурочка, — если согласны, я снимаю с вас все проклятия. Меньше было бы заботы о том, что станется с моей Землей, если б вы согласились. Ну да разве вас уломаешь, ублюдков? Итак, проклятие остается в силе. Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы прейдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем, в меру полые, в меру вонючие, — мы поплывем.

Я смахивал, вот сейчас, на оболтусов рыцарей, выходящих от Петра Пустынника, доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: "Созвездия, ну хоть теперь-то вот вы благосклонны ко мне?" — "Благосклонны", — ответили созвездия.